

ПРОБЛЕМЫ ФИЛОЛОГИИ, КУЛЬТУРОЛОГИИ И ИСКУССТВОВЕДЕНИЯ

Россия и Запад в «педагогическом» романе Ф. Достоевского «Подросток»

У. К. Брумфилд

(УНИВЕРСИТЕТ ТУЛЕЙНА, Г. НОВЫЙ ОРЛЕАН, США)

В статье исследуется роман Ф. М. Достоевского «Подросток» в двух аспектах: как роман о развитии или формировании характера («педагогический роман» — *Bildungsroman* в гегельянском смысле) и как комментарий автора о развитии России и Запада.

Сложности формирования характера, иллюстрированного посредством восприятия «подростка» Аркадия Долгорукого, связаны с темой «случайной семьи» и попытки Аркадия компенсировать отсутствие или неуверенность отца (Версилова). Юный искатель индивидуальности проходит через фазу отчуждения. В процессе поисков Аркадий должен перевоспитать сам себя и преодолеть свой комплекс неполноценности и духовного надрыва в терминах Достоевского.

Ложная компенсация неполноценности выражена в тщетных поисках Аркадия власти через богатство (идея Ротшильда). Этот внутренний процесс рассматривается в статье как отражение сложного отношения России к Западу, отношение, наполненное любовью и негодованием, комплексом неполноценности и требованием величия.

В исследовании этой темы автор ссылается на политический трактат Н. Я. Данилевского «Россия и Европа», с его пророчеством апокалиптического конфликта между Россией и Западом. Характеры Версилова (дворянина, преданного Европе) и Крафта (идеологического радикала) представляют собой полярные стороны в понимании подростка, который борется за идентичность, ищет себя. И это отражает борьбу и поиски самой России. В конце романа Аркадий прощает отца и движется от разочарованности к зрелости, образом чего стал Петр Великий.

Ключевые слова: *Bildungsroman*, формирование характера, отчуждение, Гегель, надрыв, идея Ротшильда, Н. Я. Данилевский, Россия и Европа, золотой век, Макс Шелер, коммунизм, атеизм, Русская православная церковь, Ф. М. Достоевский, Петр Великий.

Мы сделались европейцами

под неперменным условием неуважения к самому себе.

Подготовительные материалы к «Подростку»

(Достоевский, 1976а: 168).

«Подросток» обычно считается слабейшим романом Ф. М. Достоевского, деформированным продуктом «смутного» периода между написанием «Бесов» и «Братьев Карамазовых». «Подросток»... значительно слабее основных романов Достоевского. Это мешанина из старых тем, приемов и психологизации»

(Wasiulek, 1964: 137). Эта точка зрения могла бы быть дополнена любым количеством аналогичных утверждений, и автор данной статьи не ставил перед собой цели оспаривать укоренившееся расхожее критическое отношение к роману.

Напротив, очевидные дефекты романа — лихорадочный, неорганизованный ритм и запутанная, «неправдоподобная» структура — и показывают болезненное состояние ума Достоевского в момент написания «Подростка». Эмоциональные высказывания в защиту «записок» подростка, которыми начинается и завершается произведение, одновременно являются и признанием бесформенности, и вызовом тем, кто игнорирует трудности автора в попытке понять злобность и дерзость неполноценности. Ибо «Подросток» — роман, наполненный чувством неполноценности: автора, главного героя — и России.

Роман был начат в особенно тревожный и неопределенный период в конце творческой карьеры Достоевского: завершив «Бесов» в конце 1872 г., следующий год он посвятил «Дневнику писателя», который появился в газете князя Владимира Мещерского «Гражданин»¹. Несмотря на все трудности редакторской работы писателя в данном издании, этот период имел большое значение для развития и экспозиции наиболее фундаментальных интересов писателя, среди которых дестабилизация современного российского общества и характер русского юноши — как показано в его статье «Одна из современных фальшей» (10 декабря 1873 г.). Кроме того, Достоевский давал своим читателям в газете расширенный комментарий текущих событий в Западной Европе («Иностранные события») — между сентябрем 1873 и январем 1874 г. Последняя публикация представляет особый интерес в связи с изложением точки зрения Достоевского на российско-европейские отношения. Отметив успехи России в кампании против хивинского ханства и «удивление» Европы подобным ходом событий, Достоевский замечает: «Россия не боится, чтоб ее все более и более узнавали в Европе; напротив, желает того. Правда, Европа до сих пор никогда не верила в этом отношении России. Вся политическая жизнь России, в продолжение всего, может быть, девятнадцатого столетия, в сущности была лишь жертвою ее Европе чуть не всеми своими интересами. И что же в результате? Поверила ли хоть раз Европа политическому бескорыстию России и не заподозревала ли ее почти всегда в самых коварных намерениях против европейской цивилизации?» (Достоевский, 1980: 242).

Раздраженный, обиженный тон этого пассажа напоминает тоталитаристскую риторику двадцатого столетия; но более подходящая аналогия с взглядами Достоевского — на самом же деле вероятный их источник — может быть обнаружена в работе «Россия и Европа» Николая Данилевского, впервые опубликованной в журнале «Заря» в течение 1869 г. и переизданной отдельной книгой в 1871 г. Взгляд Данилевского на неизбежный, апокалиптический конфликт между Россией и Западом, несомненно, был известен Достоевскому: в начале второй главы книги, названной «Почему Европа враждебна России?», утверждается, что Европа не только не испытывала благодарности к России за ее услуги (в войне против Наполеона, например), но также была последовательно и беспричинно подозрительна относительно российских геополитических амбиций (Данилевский, 1894: 20–21; для изучения политических взглядов Данилевского см.: MacMaster, 1967). Сходство очевидно, есть и другие точки соприкосновения: российское мессианство, славянское братство, тяготение к Константинополю.

Как бы то ни было, но интригующие попытки Достоевского и Данилевского объяснить российскую территориальную экспансию, националистическое негодование

на сомневающих в законной судьбе России оспариваются в «Подростке» другим взглядом на предстоящий апокалипсис в Европе. Этот апокалипсис должен привести не к триумфу русского мессианства, а к уничтожению всех культурных ценностей. Беспокойство Достоевского о сумерках цивилизации заметно в его первых набросках к «Подростку». Среди ссылок на «Гамлета-христианина», «хищный тип» (будущий Версильев) и роман о детях, он отмечает: «Фантастическая поэма-роман: будущее общество, коммуна, восстание в Париже, победа, 200 миллионов голов, страшные язвы, разврат, истребление искусств, библиотек, замученный ребенок» (Достоевский, 1976а: 5). Эволюция от этих записей в начале 1874 г. до решения автора в июле того же года, что подросток, Аркадий Долгорукий, будет героем романа (а не «ОН», хищный тип, Версильев), была исследована комментаторами академического собрания сочинений Достоевского. Несмотря на перемены в творческой истории романа, чувство тревоги из-за общеевропейского пожара и негодование, выраженное в выпусках «Иностранных событий» (упомянутых выше), оставались с писателем во все время работы над романом; и мы будем доказывать, что сдвиг в форме повествования к подростку — сыну Версильева — предоставляет Достоевскому перспективу, с которой он может исследовать не только отношения между отцом и сыном, но также — в метафорическом смысле — между Европой и Россией.

Параллель, или метафора, отнюдь не жесткая: неполноценность, негодование и вызов власти действуют в «Подростке» на многих уровнях. Предупреждение повествователя о мотивах его отчета об известных событиях предшествующего года — перл апологии и самооправдания, весьма напоминающий пародию на защиту Достоевским в это же время своей литературной работы от тех, например, кто более высоко ценил творчество Толстого (там же: 329–330). Простодушие Аркадия прямо-таки обезоруживает: «Я гораздо умнее написанного» (Достоевский, 1975: 6). Подобно герою из подполья, подросток обязуется писать только для себя, оставаясь вне критики. Даже свойства русского языка привлечены, чтобы предупредить критику: «Замечу тоже, что, кажется, ни на одном европейском языке не пишется так трудно, как на русском» (там же). Россия представляется ущербной даже в своем способе изъяснения.

При такой озабоченности правдивостью и адекватностью высказывания естественно, что повествование подростка заключают не его слова, но одобрительные комментарии более мудрого, старого человека (Николая Семеновича, наставника Аркадия во время его учебы в Москве), через которого Достоевский отстаивает законность своей работы и парирует скрытые обвинения в бесформенности². В тонко завуалированной полемике с представлением Толстого о сплоченной дворянской семье «рупор» Достоевского хвалит подростка за его изображение «случайного семейства», символического осколка российского общества: «Признаюсь, не желал бы я быть романистом героя из случайного семейства! Работа неблагодарная и без красивых форм. <...> Но такие “Записки”, как ваши, могли бы, кажется мне, послужить материалом для будущего художественного произведения, для будущей картины — беспорядочной, но уже прошедшей эпохи» (там же: 455).

Этот пассаж может быть прочитан как свидетельство страха автора перед собственной небрежностью — страха, хорошо документированного в записях Достоевского этого периода; но было бы неверно полагать, что Достоевский заменил заботу о будущем России заботой о собственной репутации. Для Достоевского и для его утешающего комментатора на заключительных страницах важным моментом явля-

ется само повествование, чья катарсическая ценность способствует формированию личности юноши, ибо рассказыванием преодолеваются его негодование и изоляция от окружающего мира. Как отмечает Жан Ипполит в своих комментариях по поводу использования Гегелем термина «отчуждение» (*Entausserung*) в «Феноменологии духа»: «Mais les deux termes de culture et d'alienation ont une signification tres proche l'un de l'autre. C'est par l'alienation de son etre naturel que l'individu determine se cultive et se forme a l'essentialite. D'une facon plus precise on peut dire que pour Hegel la culture de Soi n'est concevable que par la mediation de l'alienation ou de l'extraneation [Entfremdung]. Se cultiver ce n'est pas se developper harmonieusement comme par une croissance organique, c'est s'opposer a soi-meme, se retrouver a travers un dechirement et une separation» (Hippolite, 1946: 372).

Достоевский создал *Bildungsroman* в гегелевском смысле (*Bildung* = культура, образование) и сообщил об этом через персонаж, для которого акт писания является процессом самообразования (Аркадий использует термин «перевоспитать»). Как говорит ему его комментатор: «Твердо верю, что сим изложением вы действительно могли во многом “перевоспитать себя”, как выразились сами» (Достоевский, 1975: 452). В своем перевоспитании Аркадий избавился от своей «идеи» Ротшильда, идеи власти через богатство, которая могла бы быть использована как инструмент мести обществу, поставившему его в положение неполноценности. Возвращаясь к Ипполиту: «Le langage est en effect la seul alienation spirituelle du Moi qui donne une solution au probleme que nous nous sommes pose... Le Moi qui s'exprime est appris [as it is by Dostoevskii's commentator]; il devient une contagion universelle dans sa disparition meme» (Hippolite, 1946: 390).

Но преодоление терзаний Аркадия (надрыва, в терминах Достоевского, *dechirement* — Ипполита) — не единственное достоинство, отмечаемое Николаем Семеновичем в его комментарии. Он заключает подтверждением ценности этих записок для будущих поколений, которые пожелают понять это «смутное время» и это беспокойное поколение.

В этом выводе Достоевский ясно выразил свою собственную веру в будущее российской молодежи. Понятие материала для будущего, многообещающе заявленное здесь, странно перекликается с более ранним пассажем, из третьей главы, содержащим наиболее острое, до нигилизма, выражение русской неполноценности в творчестве Достоевского: «Он вывел, что русский народ есть народ второстепенный <...>, которому предназначено послужить лишь материалом для более благородного племени, а не иметь своей самостоятельной роли в судьбах человечества. Ввиду этого <...> господин Крафт пришел к заключению, что всякая дальнейшая деятельность всякого русского человека должна быть этой идеей парализована...» (Достоевский, 1975: 44).

Носитель этих взглядов, некий Крафт, чьи исторические и интеллектуальные прототипы были тщательно исследованы советскими учеными (там же: 366, 374–375), никогда в действительности не выражает их в романе. Скорее, они излагаются его интеллектуальными эпигонами, членами радикальной дискуссионной группы, прототипически восходящей к долгушинскому кружку, чей революционный популизм привел к арестам в 1873 г.³ Позиция Крафта неправильно понята или вульгаризирована кружковцами, за исключением некоего Васина, который намекает, что Крафт вышел за пределы логики, в область «идеи-чувства» (ср. противоположение Максом Шелером эмоционального сознания интеллектуальному сознанию).

Достоевский тем самым защищал идею Крафта, показывая, как легко она может быть неверно понята теми, кто заключает ее в контекст политических банальностей (один персонаж утверждает, что русские способны служить полезной цели в развитии человечества даже как второстепенный народ). Достоевский оставляет радикальную группу Дергачева/Долгушина после этой сцены, и значение группы в конечной версии романа существенно снижено по сравнению с тем, что намечалось в период черновой работы. При этом значение идеи-чувства Крафта сохраняется и охотно принимается Аркадием применительно к его собственному образу мысли. При посредничестве Васина Аркадий встречается с Крафтом, и тот развивает свою идею, уточняет характер своего отношения к России. Он определяет современность как век, в котором восторжествовала посредственность и моральные идеи полностью отсутствуют. Резкими словами, напоминая декламацию Астрова в «Дяде Ване», он говорит: «Нынче безлесья Россию, истощают в ней почву, обращают в степь и готовят для калмыков. Явись человек с надеждой и посади дерево — все засмеются: “Разве ты до него доживешь?” С другой стороны, желающие добра толкуют о том, что будет через тысячу лет. Скрепляющая идея совсем пропала. Все точно на постоялом дворе и завтра собираются вон из России...» (там же: 54).

Когда Аркадий замечает, что напрасна надежда на то, что произойдет через тысячу лет, и напоминает Крафту о его «отчаянии... про участь России», последний с раздражением признает, что это — «самый насущный вопрос», который в его случае решается самоубийством.

Этот комплекс идей едва ли нов для творчества Достоевского: в «Бесах» Шатов говорит Ставрогину об «этнографическом материале» и о характере «великого народа». Великий народ должен верить, что истина, необходимая для спасения мира, заключена в нем одном, ибо в противном случае этот народ годится только для этнографического материала. «Истинно великий народ никогда не может примириться со второстепенную ролью в человечестве или даже с первостепенною, а непременно и исключительно с первою. Кто теряет эту веру, тот уже не народ» (Достоевский, 1974: 200). Это шарханье от неполноценности к неоспоримому превосходству в национальном самосознании — характерный аспект мышления Достоевского: даже учитывая его «диалогизм», едва ли можно сомневаться, что писатель часто присоединяется к экстремистскому национализму, подобному тому, что выражен Данилевским в «России и Европе». В четвертой главе этой работы Данилевский утверждает: «...или положительная деятельность самобытного культурно-исторического типа, или разрушительная деятельность так называемых бичей Божьих, предающих смерти дряхлые (томящиеся в агонии) цивилизации, или служение чужим целям в качестве этнографического материала — вот три роли, которые могут выпасть на долю народа» (Данилевский, 1894: 92).

Подобно Данилевскому, Достоевский верил в историческую миссию славянства, и оба ждали войны, которая должна освятить эту миссию и продемонстрировать моральное превосходство России над технологической, материальной мощью Запада. Наконец, подобно Данилевскому, идеологи Достоевского Шатов и Крафт бескомпромиссны: ощущение превосходства необходимо для выживания нации. В противном случае она годится только для «этнографического материала».

Были, однако, и различия между Достоевским и Данилевским в интерпретации роли России. В письме к Николаю Страхову (март 1869 г.) Достоевский пишет: «...я все

еще не уверен, что Данилевский укажет в *полной силе* окончательную сущность русского призвания, которая состоит в разоблачении перед миром русского Христа, миру неведомого и которого начало заключается в нашем родном православии. Помоему, в этом вся сущность нашего будущего цивилизаторства и воскрешения хотя бы всей Европы» (Достоевский, 1986: 30). Вместе с тем даже по этому, наиболее фундаментальному пункту русского мессианства Достоевский выражал свои сомнения в рабочих материалах к «Подростку»: «Версиров о неминувости коммунизма» (Достоевский, 1976а: 360). Коммунизм, согласно этому пассажи, воцарится на земле в соответствии с определенными неизменными законами и в противоположность небесному царству Божию. «И однако же, высшим благом было бы, если б Россия поняла коммунизм Европы, тогда бы поняла в то же время, как далека от него» (там же). России суждено осуществлять чуждую идею, неполно понятую и импортированную из Европы.

Такие ссылки на коммунизм, европеизацию и утрату корней в постпетровской России в конечной версии романа приглушаются. Версиров становится поборником универсальности России и принятия ею европейской культуры (см. часть III, глава 7 — версировское видение золотого века — рая на земле без Бога). В пространном рассуждении, которое служит контрапунктом к суждениям Крафта о России, Версиров идентифицирует себя как члена группы избранных, из одной тысячи, лучших представителей русского дворянства, чья культура была построена усилием «всей России». Как один из избранных «носителей идей», Версиров покидает свою страну, как прежде — жену и сына, Аркадия, для того чтобы стать идеальным европейским гражданином: «Русскому Европа так же драгоценна, как Россия: каждый камень в ней мил и дорог. Европа так же была отечеством нашим, как и Россия. О, более!» (Достоевский, 1975, 377). Вскоре после этого Версиров говорит словами Достоевского-журналиста: «...согласись, мой друг, знаменательный факт, что вот уже почти столетие, как Россия живет решительно не для себя, а для одной лишь Европы!» (там же). Но, приняв европейский культурный идеал, Версиров вынужден наблюдать его крушение, приближенное бессмысленным разрушением во времена Парижской коммуны (март — май 1871 г.) и символизируемое версировским видением заходящего солнца («последний день Европы»).

Вместе взятые, Крафт и Версиров иллюстрируют неоднозначность взгляда Достоевского на Европу и ее нынешнее состояние. Версиров, продукт инертной массы (этнографического материала), дворянин, отчужденный от своей страны, неангажированный носитель идей, является подтверждением каждого пункта иеремии Крафта. И хотя Достоевский, возможно, выразил собственные мысли через версировское благоговение перед европейской культурой и свою веру в то, что Россия, и только Россия предназначена примирить Европу, взорванную социальными раздорами, все же противоречие между космополитическим идеалом и националистическим императивом слишком велико, чтобы его разрешить (Достоевскому) или вынести (Версирову). Даже Аркадий, который восторженно принимает благородные сентименты Версирова о всемирном гражданстве, считает идею примирения нонсенсом (там же: 388).

Кульминация напряженности между этими двумя непримиримыми принципами разрешается типичным для Достоевского образом: сценой скандала, которая вскрывает раздвоение личности Версирова. Взяв икону, которая была завещана ему блаженным Макаром Долгорукиком (законным мужем Софьи, матери Аркадия), Версиров

пытается описать Софье чувство раздвоения или разделения внутри него и вдруг разбивает икону на две части — действие, которое он сам называет «аллегорическим» (там же: 409). Оскверняя образ, бесценный для набожной женщины, которая любит его, Версиров разряжает напряженность своей разрушительной страсти к Катерине Николаевне, роковой женщине, чьи прелести противопоставлены преданности Софьи.

Версиров вместе с тем разрушает один из самых священных символов допетровской России — икону — с ее коннотациями национальной веры, русского единства в лоне Православной церкви. В романе икона как объект поклонения замещается фотографией — этим западным изобретением, чье бездушие, казалось, убило само понятие духовности в искусстве. Эта подмена проявляется на комично-абсурдном уровне, когда старый князь Сокольский, в своем старческом слабоумии, шепчет Аркадию о порнографических фотографиях обнаженных женщин, показанных ему его хозяином-похитителем, а затем просит Аркадия найти фотографический портрет Катерины Николаевны, над которым он плачет и восклицает: «C'est un ange, c'est un ange du ciel!» («Это ангел, ангел небесный!») (там же: 431).

Более глубокий пример новой секуляризированной, механической иконографии вскрывается в версировском поклонении фотографическому портрету Софьи. Во время одной из своих последних встреч с Версировым Аркадий, в частности, вспоминает: «...мамин портрет — фотография, снятая, конечно, за границей <...>. Я не знал и ничего не слышал об этом портрете прежде, и что, главное, поразило меня — это необыкновенное в фотографии сходство, так сказать, духовное сходство, — одним словом, как будто это был настоящий портрет из руки художника, а не механический оттиск» (там же: 369). Иконоборец Версиров благоговейно целует фотографию («снятую, конечно, за границей»); и при нашей последней встрече с ним, после разбивания иконы и грубой ссоры с Катериной Николаевной, выздоровевший Версиров смотрит со слезами на фотографию Софьи и покрывает ее поцелуями (там же: 447). Несмотря на то что объект поклонения существует во плоти, Версиров обращается к фотографической иконе как благотворному образу русской женщины, к которому он вернулся в безотчетной, детской вере и подчинении.

Крах Версирова и его идеала русского дворянина как миротворца и космополита облегчает его сыну вступление в зрелость; и Аркадий, бегущий из порочного круга обид (*ressentiment*)⁴, способен теперь воспринять противоречивость отца без осуждения. Такой развязкой романа Достоевский показал неоднозначность своей позиции в современной дискуссии о будущем лидерстве России: оно придет не от возрожденного поместного дворянства, но от нового класса, порожденного ценностями промышленности, образования и усердия. При всем своем недоверии к Петровским реформам Достоевский все же принял те ценности, которые Петр желал внедрить в русское общество; и таким образом косвенно одобрил петровское видение России как современного европейского государства.

В конце романа повествователь и автор объединяются в выражении веры в будущее России: «из подростков созидаются поколения...» (Достоевский, 1975: 455). Именно движение к зрелости, увиденное в жизни подростка, дает Достоевскому возможность верно поставить вопрос взаимоотношений России и Европы и позволяет ему — по крайней мере в художественном измерении — устранить агрессию неполноценности, которая наполняет большинство его публицистических сочинений на эту тему.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ По истории его отношений с Мещерским см. комментарии к «Дневнику писателя» (Достоевский, 1980: 359–370), а также: Викторovich, 1988.

² Концепт «подразумеваемого критика» должен здесь быть добавлен к концептам «подразумеваемого читателя» (как у В. Изера) и «подразумеваемого автора» — особенно в «Подростке», где подразумеваемый критик формирует важную часть структуры неполноценности.

³ Обзор деятельности группы содержится в работе: Venturi, 1966: 496–501. Для анализа реакции Достоевского на задержание и суд над группой Долгушина см.: Достоевский, 1976b: 299–303.

⁴ Фундаментальная работа Макса Шелера об обиде «Über ressentiment und moralisches Werturteil» (1912), имеется во множестве изданий (см., напр.: Scheler, 1970).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Викторovich, В. А. (1988) Достоевский и В. П. Мещерский: К вопросу об охранительстве писателя // Русская литература. № 1. С. 205–216.
- Данилевский, Н. (1894) Россия и Европа. СПб.
- Достоевский, Ф. М. (1975) Полн. собр. соч. : в 30 т. Л. : Наука. Т. 13. 445 с.
- Достоевский, Ф. М. (1976a) Полн. собр. соч. : в 30 т. Л. : Наука. Т. 16. 438 с.
- Достоевский, Ф. М. (1976b) Полн. собр. соч. : в 30 т. Л. : Наука. Т. 17. 388 с.
- Достоевский, Ф. М. (1980) Полн. собр. соч. : в 30 т. Л. : Наука. Т. 21. 551 с.
- Достоевский, Ф. М. (1986) Полн. собр. соч. : в 30 т. Л. : Наука. Т. 29. 565 с.
- MacMaster, R. E. (1967) Danilevsky: A Russian Totalitarian Philosopher. Cambridge : Harvard University Press.
- Hypolite, J. (1946) Genese et structure de la 'Phenomenologie de l'espirit' de Hegel. Paris : Editions Montaigne.
- Scheler, M. (1970) L'Homme du ressentiment. Paris : Gallimard.
- Venturi, F. (1966) Roots of Revolution / trans. by F. Haskell. N. Y. : Grosset & Dunlap.
- Wasiolok, E. (1964) Dostoevsky: The Major Fiction. Cambridge : The M. I. T. Press.

Дата поступления: 10.12.2013 г.

*RUSSIA AND THE WEST IN F. DOSTOYEVSKY'S BILDUNGSROMAN PODROSTOK
(THE ADOLESCENT)*

W. C. BRUMFIELD

(TULANE UNIVERSITY, NEW ORLEANS, USA)

This article examines Dostoevskii's novel *Podrostok* both as a development or formation of character — a Bildungsroman in a Hegelian sense—and as commentary on Russia's development in relation to the West. The complexities of character formation, illustrated through the perception of the “adolescent” Arkadii Dolgorukii, are related to the theme of the “accidental family” and the Arkadii's attempt to compensate for the absent or uncertain father (Versilov).

This adolescent search for selfhood passes through a phase of alienation, or Hegelian Entzuserung (as presented in *The Phenomenology of the Spirit*). In the process of writing his own life commentary, Arkadii must reeducate (perevospitat') himself and overcome his sense of inferiority and spiritual laceration — nadryv in Dostoevskii's term.

False compensation for the sense of inferiority is expressed in Arkadii's vain quest for power through wealth (the idea of Rothschild). This inner process is in turn a reflection of Russia's complex relation to the West, a relation suffused with love and resentment, with a sense of inferiority and a claim of greatness. In examining this larger theme, the article introduces Nikolai Danilevskii's political treatise *Russia and Europe* (1869, 1871), with its prophecy of an apocalyptic conflict between Russia and the West.

The characters of Versilov (the nobleman whose allegiance is to Europe) and Kraft (the ideological radical) represent polar positions in the adolescent's struggle for identity, a quest that reflects the broader struggle of Russia itself. At the end of the novel Arkadii forgives his father and moves beyond resentment toward a maturity whose emblem is Peter the Great.

Keywords: Bildungsroman, character formation, alienation (Entfremdung), Georg Wilhelm Friedrich Hegel, nadryv, idea of Rothschild, Nikolai Danilevskii, Russia and Europe, the Golden Age, resentment, Max Scheler, communism, atheism, Russian Orthodox Church, iconography, photography, Paris Commune, Peter the Great.

REFERENCES

Viktorovich, V. A. (1988) Dostoevskii i V. P. Meshcherskii: K voprosu ob okhranitel'stve pisatel'ia [Dostoyevsky and V.P. Meshcherskii: On the Writer's Extreme Conservatism]. *Russkaia literatura*, no. 1, pp. 205–216. (In Russ.).

Danilevskii, N. (1894) *Rossia i Evropa* [Russia and Europe]. Saint Petersburg. (In Russ.).

Dostoevskii, F. M. (1975) *Polnoe sobranie sochinenii* [Complete Works] : in 30 vols. Leningrad, Nauka Publ. Vol. 13. 445 p. (In Russ.).

Dostoevskii, F. M. (1976a) *Polnoe sobranie sochinenii* [Complete Works] : in 30 vols. Leningrad, Nauka Publ. Vol. 16. 438 p. (In Russ.).

Dostoevskii, F. M. (1976b) *Polnoe sobranie sochinenii* [Complete Works] : in 30 vols. Leningrad, Nauka Publ. Vol. 17. 388 p. (In Russ.).

Dostoevskii, F. M. (1980) *Polnoe sobranie sochinenii* [Complete Works] : in 30 vols. Leningrad, Nauka Publ. Vol. 21. 551 p. (In Russ.).

Dostoevskii, F. M. (1986) *Polnoe sobranie sochinenii* [Complete Works] : in 30 vols. Leningrad, Nauka Publ. Vol. 29. 565 p. (In Russ.).

Scheler, M. (1970) *L'Homme du ressentiment*. Paris, Gallimard.

MacMaster, R. E. (1967) *Danilevsky: A Russian Totalitarian Philosopher*. Cambridge, Harvard University Press.

Hyppolite, J. (1946) *Genese et structure de la 'Phenomenologie de l'esprit' de Hegel*. Paris, Editions Montaigne.

Venturi, F. (1966) *Roots of Revolution* / trans. by F. Haskell. New York, Grosset & Dunlap.

Wasiolok, E. (1964) *Dostoevsky: The Major Fiction*. Cambridge, The M.I.T. Press.

Submission date: 10.12.2013.

Брумфилд Уильям Крафт — доктор наук, профессор славистики Университета Тулейна (Tulane University) (Новый Орлеан, США). Адрес: 6823 Saint Charles Avenue, New Orleans, Louisiana, 70118, USA. Тел.: +1 (504) 865-5276. Эл. адрес: William.brumfield@gmail.com

Brumfield William Craft, Ph.D, Professor of Slavic Studies, Tulane University, New Orleans, USA. Postal address: 6823 Saint Charles Avenue, New Orleans, Louisiana, 70118, USA. Tel.: +1 (504) 865-5276. E-mail: William.brumfield@gmail.com